

И. П. ЕРЕМИН

Киевская летопись как памятник литературы

Так называемая Киевская летопись, дошедшая до нас в Ипатьевском летописном сборнике начала XV в., Хлебниковском сборнике XVI в. и других, как известно, непосредственно примыкает к „Повести временных лет“ и доводит изложение до 1200 г. Составленная в Киеве, в Выдубицком монастыре, по мнению большинства исследователей, на рубеже XII—XIII вв., летопись эта до сих пор не была предметом специального литературоведческого изучения. Настоящая работа и пытается частично восполнить этот пробел.

Основная ее задача — охарактеризовать повествовательный материал этой летописи с точки зрения его литературной природы — его метода отражения исторической действительности. По моим наблюдениям, все многообразие повествовательного материала Киевской летописи относительно четко делится на следующие группы: погодную запись, рассказ и повесть. Эти повествовательные формы летописи Киевской и будут, следовательно, предметом моего ближайшего рассмотрения; — в понимании терминов „рассказ“ и „повесть“ в применении к летописи я несколько расхожусь с моими предшественниками; относя ту или иную единицу летописного повествования к „рассказу“ или „повести“, я руководствуюсь не одним каким-либо случайным признаком, — объемом, например, но ее литературной природой в целом.¹

1

Погодная запись в составе Киевской летописи, как и в любой другой, не имеет своего определенного места; нередко записи заполняют собою весь год и следуют одна за другой, читаются подряд; нередко под тем или иным годом они вообще отсутствуют; часто вклиниваются, перебивая последовательность изложения, в середину летописного рассказа или присоединяются к рассказу в начале его или в конце.

¹ Дошедший до нас текст Киевской летописи ниже везде цитирую по изданию: Летопись по Ипатьевскому списку. СПб., 1871.

По объему своему погодная запись очень невелика. Предельная краткость изложения — наиболее характерный ее внешний признак. В подавляющем большинстве случаев содержание погодного известия свободно укладывается в одно-два предложения. Вводятся в повествование погодные известия в летописи Киевской обычно традиционной формулой: „В лето 66.“; если читаются подряд под одним и тем же годом, то отделяются одна от другой формулами: „Том же лете“, „Того же лета“, „Се же лето“, „Сего же лета“, „В то же время“, „Тогда же“, „Потом же“ и проч.¹ Функция этих формул двойная: это — указатели времени и, вместе с тем, формулы перехода от одного сообщения к другому.

У погодной записи, в отличие от летописного рассказа, обычно своя особая сфера повествования; в летописи Киевской она чаще всего регистрирует следующие события: смерть того или иного князя, митрополита, епископа, игумена; рождение у князя сына или дочери; приезд в Киев митрополита, поставление епископа; основание церкви, торжественное ее освящение; те или иные стихийные бедствия: пожары, засуху, землетрясения, сильное половодье, большие морозы, большой снегопад и проч.; те или иные явления природы: солнечное затмение, появление кометы и проч. Отмечает погодная запись в летописи Киевской и отдельные политические события (военные походы князей друг на друга или на соседей, переход князя из одной области в другую и т. п.), но значительно реже. Как правило, сфера погодных известий — единичные факты, интересные с точки зрения летописца и заслуживающие упоминания, но не требующие подробного изложения в форме развернутого рассказа. События, требующие подробного рассказа, летописец излагал в форме краткого погодного известия, как кажется, только в том случае, когда у него не было под рукою материала — достаточных сведений об этих событиях. Чаще всего это имело место, когда ему, сидя в Киеве, приходилось отмечать события галицкие, черниговские, суздальские и проч. В том, что некоторые галицкие или черниговские события были записаны и внесены в летопись не в Галиче и не в Чернигове, а в Киеве, не может быть сомнений; свидетельствуют об этом сами записи. Под 1164 г., например, читаем: „То же лето бысть поводь велика в Галичи..., и бысть в них жатва дорога рамяно на ту зиму“ (стр. 358); под 1180 г.: „Иде Святослав к Любчю и призва к себе братью свою, Ярослава, Игоря, Всеволода; ряды ему деющю, сде же удеся велико зло в Киеве: погореша дворе по Горе...“ (стр. 415); под 1196 г.: „Того же лета во Олговичех преставися князь Всеволод Святославич...“ (стр. 467).

¹ Реже объединяются погодные записи в один ряд при помощи союза „и“: „В лето 6630. Ведена Мьстиславна в Греки за царь, и митрополит Никита приде из Грек, и Данило епископ Гурьговьский умре, и Анфилофий епископ Володимерьский умре, и земля потрясеса мало, и Володаря яша ляхове льстью, Василкова брата“ (стр. 206); или — союза „а“: „В то же веремя преставися Иванко Гюрговичь... А Святослав възвратися, поиде уверх Оки...“ (стр. 240).

Кратко отмечая тот или иной факт, часто по свежим следам события, летописец нередко тут же, в рамках погодного известия, отмечал и ходячую точку зрения на него. Под 1162 г., например, читаем: „Том же лете преставися князь Иван Ростиславичъ, рекомый Берладник, в Селуни; инни тако молвахуть, яко с отравы бе ему смерть“ (стр. 355); под 1195 г. летописец, сообщая о землетрясении в Киеве, отметил: „И рекоша игумени блажени: «Се бог проявил есть, показая нам силу свою за грехи наша, да быхомся остали от злаго путя своего»; инни же молвахуть друг ко другу: «Сии знамени не на добро бывають...»“ (стр. 463). Приведенные известия указывают и основной источник такого рода примечаний летописца: источником этим была устная молва.

Что касается его, летописца, собственного, „авторского“ отношения к тому или иному факту, то погодная запись, за немногими, очень редкими исключениями, отношение это никак не отражает; в отличие от летописного рассказа, в погодной записи „автор“ еще явно отсутствует.

Основное литературное качество погодного известия — документальность. Проявляется она во всем: и в этом характерном отсутствии „автора“, и в деловой протокольности изложения, и в строгой фактографичности (точно указывается дата события, не только год, но часто и месяц и день, место происшествия; обстоятельно перечисляются все участвовавшие в нем лица — по именам).¹ Видно, что летописец озабочен только одним: возможно точнее и короче зарегистрировать определенный факт, не входя в подробности — или просто ненужные или ему неизвестные.

Документальность погодной записи в особенности наглядно иллюстрируют случаи, правда, очень редкие, где летописец вопреки своему обычаю — отмечать факт, но не его причину, не только указывает реальную причину события, но делает это с точностью и „реализмом“, достойными современного историка. Интересна в этом отношении запись под 1141 г.: „Сего же лета слышавше новгородци, оже приял Всеволод братью их, и не стерпяче бес князя седити, и ни жито к ним не идяше ни отколе же, и послаша Гюргеви мужи своя, и пояша Ростислава Гюргевича, и посадиша новгородци с великою честью Новегороде на столе своего ему отца“ (стр. 221). Здесь эта реальная деталь: „и ни жито к ним не идяше ни отколе же“ — документально точная констатация

¹ Фактографичность изложения иногда приводила к тому, что запись превращалась в сухой набор имен или географических названий. Под 1162 г., например, читаем: „Том же лете Рюрик и Святополк Гюргевич Туровский и Святослав Всеволодич с братом Ярославом, и с Олгом Святославичем, и с Володимиричем, и с Кривскими князьми, идоша к Случьску на Володимира на Мьстиславича...“ (стр. 356). Или под 1147 г.: „В то же веремя выбегоша посадничци Володимери Изяслави из Вятичъ, из Брянска, и из Мьченска и из Блече (вар.: Блове); и оттуда иде (Святослав Ольгович) Девягорьску, иде заем вси Вятичи и до Брянск и до Воробинъ (вар.: Воробани), Подесьнье, Домагоць и Мценск“ (стр. 242).

факта. Что это именно так, что это не домысел летописца, что здесь сама действительность подсказала летописцу правильную интерпретацию события, — свидетельствуют более характерные для летописца обратные случаи, где он ограничивается одной чисто эмпирической регистрацией фактов. Запись под 1133 г. — типичный пример такого изложения событий, когда факты просто перечисляются („называются“) и только: „Том же лете Ярополк приведе Всеволода Мьстиславича из Новагорода и да ему Переяславль,¹ с завтрия (вар.: с заутрея) же седе в нем, а до обеда выгна и Юрьи стрый его, и седе в нем 8 дний, и выведе брат его Ярополк ис Переяславля за хрестьное целование, и посла Ярополк по другаго Мьстиславича в Полтеск по Изяслава, приведе и с клятвою“ (стр. 212). Здесь излагается целая цепь событий, довольно обычных для феодального быта Руси XII в.: город в течение очень короткого времени переходит из рук в руки. События эти могли бы дать материал для подробного рассказа. Но здесь рассказа нет; есть только голое перечисление фактов — до такой степени в данном случае протокольное, что в тексте записи образовались явные смысловые пробелы. В самом деле, мы не найдем здесь у летописца ответа на естественно возникающие вопросы: как случилось, что Всеволод Мстиславич, утром прибыв в Переяславль, к обеду уже вынужден был уступить его дяде Юрию; почему Ярополк, восемь дней спустя, „вывел“ Юрия из Переяславля и на каких условиях (ссылка летописца на то, что Ярополк „вывел“ Юрия „за хрестьное целование“ — дела не разъясняет); почему Ярополк на этот раз распорядился передать Переяславль не Всеволоду, а брату его Изяславу; в тексте сказано, что Ярополк перевел Изяслава из Полоцка в Переяславль — „с клятвою“, но в чем именно заключалась эта „клятва“ (договор, скрепленный крестным целованием) — неясно; мы можем только догадываться, что Ярополк, очевидно, обещал Изяславу передать после своей смерти киевский стол.

2

Обращает на себя внимание типологическое родство между погодной записью и летописным рассказом, — несмотря на существенное в ряде случаев отличие рассказа от записи и, прежде всего, по содержанию: в отличие от записи, рассказ излагает преимущественно политические события, феодальные войны XII в.

Родство это сказывается даже в деталях литературной структуры и записи и рассказа.

Погодные записи в летописи Киевской чередуются в строго хронологическом порядке. Тот же принцип лежит в основе чередования и лето-

¹ В Лаврентьевской летописи, где читается та же запись, добавлено: „по хрестьному целованию, акоже ся бяше урядил с братом своим Мстиславом, по отню повелению, акоже бяше има дал Переяславль с Мстиславом“. См. Полное собрание русских летописей, т. I, вып. 2. Изд. АН СССР, Л., 1927, столб. 301.

писных рассказов: они тоже, в летописи Киевской, в композиционном отношении целиком подчинены погодной канве. Всякий рассказ, введенный в повествование не в свой год, всегда, как правило, оговаривается; летописец остро ощущал каждое нарушение, даже малейшее, погодного порядка и нарушение это всегда отмечал: „Мы же на преднее возвратимся“ или „Мы же на подлежащее возвратимся“ (стр. 218, 364, 472).

Строго следуя погодному принципу изложения, летописец не раз, когда того требовало время, даже прерывал изложение, чтобы затем опять к нему вернуться. Типичный пример — рассказ под 1149 г. о союзе Святослава Ольговича с Юрием Долгоруким, перебитый „вставкой“: „Гюрги же пришед ста у Ярышева; и ту к нему приеха Святослав Ольговичь на Спасов день, и ту Святослав позва и к собе на обед, и ту обедаше разъехашася. Въутри же день в неделю рано, въсходящю сонцю, родися у Святослава Ольговича дчи, нарекоша в крещение имя ей Марья. Рече же Ольговичь Святослав к Гюргеви: «Брате! То нам ворог всим Изяслав, брата нашего убил». В ть день поиде Гюрги наперед с вое своими, Святослав же поиде по нем. . .“ (стр. 263—264). Даже если будет доказано, что здесь перед нами действительно вставка, внесенная в текст рукою другого автора или редактора, факт тем не менее остается фактом: в дошедшем до нас тексте рассказ перебит и перебит в самом центре изложения.

Как и погодные записи, рассказы в летописи Киевской вводятся в повествование той же традиционной формулой: „В лето 66. .“. Так же, как и погодные записи, в пределах данного года отделяются один от другого формулами: „Того же лета“, „В се же лето“, „В том же лете“, „В то же время“ и т. п.

Последовательность изложения — один из наиболее характерных признаков летописного рассказа; здесь, в рассказе, она уже становится предметом забот летописца; нарушение последовательности изложения уже начинает ощущаться как известный недостаток. Показательна в этой связи судьба формулы: „Мы же на преднее возвратимся“ („Мы же на подлежащее возвратимся“). Обычно ею оговаривается, как было указано, рассказ, введенный не в свое время. Но в тексте Киевской летописи встречается она и в иной функции: оговариваться ею начинает даже рассказ, нарушающий только последовательность изложения. Так, например, рассказ под 1161 г. о дивном знамении „в луне“ введен в свое время, но читается в составе другого рассказа — о бегстве из Киева Ростислава Мстиславича и о въезде в Киев Изяслава Давидовича; возобновляя прерванный рассказ о Ростиславе и Изяславе, летописец счел, однако, необходимым, вопреки обычаю, оговориться: „Мы же на подлежащее възвратимся“ (стр. 353—354; ср. стр. 369, 374, 390, 468).

Но и этот признак летописного рассказа — в какой-то мере хорошо знаком погодной записи. В составе Киевской летописи встречаются записи, где относительная последовательность изложения уже налицо, а именно там, где все они объединяются единством „героя“ или изла-

гаемого события. Примером такого чередования записей может служить цепь известий, читающихся под 1155 г.: „Том же лете посла Дюрги Дюргя Ярославича, с Жирославом и с Вячеслави внуку, на Мьстислава на Изяславича ... Тогда же иде Гюрги на снем противу половцем Каневу... В то же вереме приде Гюргевай княгини из Суждаля Смоленску, и с детми своими, к Ростиславу... Том же лете приде к Дюргеви галичская помочь от зяте его от Ярослава... Том же лете иде Андрей от отца своего из Вышегорода в Суждаль, без отне воле...“ (стр. 330—331). Здесь все погодные известия объединяются именем князя Юрия Долгорукого, во всяком случае касаются его или его семьи, и это сообщает им характер последовательного изложения.

Точно так же соединяются в один повествовательный ряд и летописные рассказы; объединенные единством „героя“ или излагаемого события, они складываются в единый развернутый рассказ, отдельные эпизоды которого отделяются друг от друга, как и записи в вышеприведенном примере, формулами: „Том же лете“, „Того же лета“, „В то же время“ и проч. Разница только в том, что рассказы объединяются в такой ряд неизмеримо чаще, чем погодные записи, и нередко, в пределах данного года, без этих формул: один непосредственно примыкает к другому, в результате чего повествование приобретает характер уже не только последовательного, но и непрерывного изложения. Так, например, рассказы об Изяславе Мстиславиче, начиная с 1146 г., именно в силу указанного обстоятельства, образуют непрерывный поток повествования, часто не сдерживаемый никакими преградами традиционных формул перехода от одного рассказа к другому. Эту непрерывность в летописи Киевской нарушает только погодная канва; если время излагаемого события охватывает два года или больше, — рассказ на соответствующем месте непременно будет механически оборван формулой: „В лето 66...“. Формула эта теперь, однако, уже теряет свою былую принудительность; она уже не означает перехода от одного рассказа к другому, а служит только указателем времени. Так, кстати сказать, уже в XII в. подготавливалась возможность полного освобождения летописания от погодной канвы (не погодного принципа), которая и была реализована, как известно, летописью Галицко-Волынской.

Очень близко напоминает летописный рассказ погодную запись и по своей литературной природе. В рассказе тоже нет ничего „литературного“, сочиненного — за немногими исключениями, о которых речь будет ниже в иной связи. Летописный рассказ в неменьшей степени документален, чем погодная запись. Он — прямое отражение реальной действительности. Это — рассказ в буквальном смысле этого слова, обычно составленный по свежим следам события очевидцем или со слов очевидца. Как и всякий рассказ очевидца, он нередко отмечен печатью той непосредственности, которая так характерна для такого рассказа, не претендующего на литературность и преследующего цели простой информации. Своими отчетливыми „сказовыми“ интонациями он порою

производит впечатление устного рассказа, только слегка окниженного в процессе записи: „... Изюймавше е (речь идет о половецких послых) Ярополци посадници на Локне, приведоша е к Ярополку, Ярополчи бо бяху посадници“ (стр. 209); „В то же веремя Изяслав посла Киеву к брату своему Володимиру, того бо бяшетъ оставил Изяслав в Киеве, и к митрополиту Климови и к Лазореви тысячкуму, и рече им...“ (стр. 245); „... нача Изяслав полкы рядити с братьею, и доспев иде к Подолью, а Ростислав стояше с Андреевичем подле столпье, загорожено бо бяше тогда столпием от Горы оли и до Днепра“ (стр. 353); „Посла же (Мстислав Изяславич) Чернигову к Ольговичем всим и к Всеволодичема, веля им быти всим у себе, бяху бо тогда Ольговичи в Мьстиславли воли, и всим угсдна бысть дума Мьстислава“ (стр. 368); „Василко же Ярополчичъ уведав е (половцев) из Михайлова, и еха на не ночи, бе же тогда ночь темна, и уступиша инем путем, изблудиша всю ночь...“ (стр. 376).

Разумеется, перед нами отражение действительности не буквальное. Рассказчик — не фотоаппарат. О том или ином событии он рассказывает так, как он его видел, как его воспринял и понял. Рассказчик — человек своей эпохи, своего общественного положения и своей политической ориентации; все это естественно не могло не сказаться на его рассказе: рассказ его всегда более или менее тенденциозен, всегда отражает идеологию того классового окружения, где он составлен и для которого составлен.

Всегда, как правило, неизмеримо подробнее излагая то или иное событие и во много раз превосходя „погодную запись по своему объему, рассказ, однако, часто напоминает погодную запись даже способом изложения: те же точные даты, подробные перечни имен, географических названий, та же суховатая деловитость тона, та же протокольная конкретность описаний. Некоторые рассказы, в особенности же рассказы об Изяславе Мстиславиче, производят впечатление делового отчета, военного донесения: до такой степени точно и обстоятельно излагают они положение вещей. Рассказ, например, под 1146 г. — о походе Изяслава Мстиславича „с силою киевскою“ на Путивль и о погроме города — в той своей части, где перечисляется захваченная Изяславом „жизнь“ Святослава Ольговича, — типичный деловой отчет, не пренебрегающий даже цифровыми подсчетами: „... и ту двор Святославъ раздели на 4 части, и скотынице, бретьянице, и товар, иже бе не мочно двигнути, и в погребех было 500 берковьсков меду, а вина 80 корчаг; и церковь святаго Възнесения всю облупиша, съсуды серебряныя, и индитьбе (престольные одежды), и платы служебныя, а все шито золотом, и каделнице две, и кацыи (ручные кадильницы), и еуангелие ковано, и книги, и колоколы; и не оставиша ничтоже княжа, но все разделиша, и челяди 7 сот“ (стр. 237). Или рассказ под 1151 г. об обороне Киева; только очевидец, быть может лично принимавший участие в обороне города, озабоченный прежде всего тем, чтобы ничего не пропустить, все отметить, мог так

описать это событие; рассказ позволяет с полной отчетливостью представить себе, во всех подробностях, как происходило дело, — где находились князья, когда началась оборона города, какие меры были приняты ими, чтобы обеспечить ее эффективность, как были распределены силы и проч. Перед нами не столько рассказ, сколько документальный отчет о виденном: „... Изяслав не ходища в город, стаستا товары перед Золотыми вороты у Язины, а Изяслав Давыдович ста mezi Золотыми вороты и mezi Жидовскими, противу Бориславу двору, а Ростислав с сыном своим Романом ста перед Жидовскими вороты, и многое множество с ними, а Городеньский Борис у Лядских ворот; кияне же всими своими силами, и на конех и пеши, и тако стаща; а промежи князи семо стаща от Вячеслава, от Изяслава поправу оли до Изяслава и до Ростислава, а от Ростислава оли и до Олговы могилы, а полеву Вячслава и Изяслава оли до Лядских ворот, и тако стаща около всего города...“ (стр. 296).

Показательны в этой связи и некоторые мелкие детали событий в рассказах летописца: время от времени они попадали в поле его зрения и отмечались им наряду с остальными фактами, попутно, просто потому, что были ему известны или обратили на себя внимание. Так, например, мы узнаем, что Игорь Ольгович, спасаясь от преследователей, попал в болото, „и угрязе под ним конь, и не може ему яти, бе бо ногами болен“ (стр. 232); — что Давыдовичи, когда приехал к ним посол Изяслава и потребовал четкого ответа, „ничтоже могоша отвещати; толико съзрешася и долго молчавше“ (стр. 244—245); — что Андрей Юрьевич, когда пал его любимый конь, „жалуя комоньства его, повеле и погresti над Стырем“ (стр. 272—273); — Юрий Долгорукий подошел к Киеву именно в тот момент, когда князь киевский Изяслав Мстиславич и дядя его Вячеслав Владимирович спокойно сели „обедати“ (стр. 280); — Андрей Юрьевич во время битвы на Перепетовом поле „възмя копье и еха наперед“, но в этот момент „бодоша конь под ним в ноздри, конь же нача соватися под ним, и шелом спаде с него, и щит на нем сторгоша“ (стр. 303); — Святослав Ольгович „бе тяжек телом“ и, когда вместе со своими союзниками потерпел поражение на Перепетовом поле, — очень „трудился бе бежа“ (стр. 304); — Ростислав Глебович, когда полочане попросили его вернуться в город, поехал, но поехал на всякий случай „изволочився в броне под порты“ (стр. 340); — Юрий Долгорукий, когда к нему с позором отправили назад его посла, — даже с лица „попуснел“ (стр. 390); — Святослав Всеволодич, возвращаясь из Карачева, — „ехаша лете на санех, бе бо нечто извергьлося ему на нозе“ (стр. 457) и проч. Все эти детали, как они цорую ни мелки, — ценнейший материал для историка; они позволяют заглянуть в самую глубь феодального быта XII в., дают возможность в ряде случаев наглядно представить себе ту эпоху. Сомневаться в их документальности у нас нет никаких оснований.

Одна из наиболее характерных особенностей летописного рассказа — речи действующих лиц повествования. Речи, очень редко, но встречаются

и в погодных записях.¹ Но здесь они не получили широкого развития и обычно очень кратки. В летописном рассказе перед нами иная картина: рассказ иногда целиком состоит из одних речей, и обмен ими и составляет все содержание его; действующие лица постоянно по любому поводу обмениваются речами, иногда произносят целые обширные монологи. Факт и сам по себе неудивительный, независимо от весьма распространенного в XII в. обычая князей обмениваться посольскими речами: рассказ по самой своей природе тяготеет к прямой речи; она для рассказчика и проще и легче. Речи — особенность летописного рассказа, которая как будто говорит о чисто литературном вымысле. В данном случае, однако, это не так. Речи Киевской летописи ничего общего не имеют с речами античных историков или хорошо известной древне-русскому книжнику XII в. „Истории Иудейской войны“ Флавия Иосифа. Там речи — литературная фикция, часто прием, украшающий повествование; здесь — живой документ. На последнее обстоятельство недавно обратил внимание Д. С. Лихачев, и в данном вопросе я целиком разделяю его точку зрения.² Не повторяя того, о чем уже писал Д. С. Лихачев, приведу некоторые новые примеры действительно замечательной документальности речей в Киевской летописи.

Под 1150 г. дружина дает Изяславу Мстиславичу такой совет: „Княже! Нелзе ти пойти на нь (речь идет о Владимире Галицком), се перед тобою река, но еще зла, како на нь хочеши поехать? А еще стоять заложився лесом; ныне же того, княже, не прави, но поеди Киеву своей дружине; аже ны Володимер где постигнуть, а ту с ним ся биемы; а како ны еси у Заречьска рекл: аче ны Гюрги усрячать, а с тем ся бием; ныне же, княже, не стряпай, но поеди; а что ти будешь на Тетереви, а ту к тебе дружина твоя вси приедуть, а что ти бог даст и до Белгорода доидеши перед ним, а боле дружины к тебе приедеть, а болши ти сила“ (стр. 286). Здесь перед нами целый военный план, сформулированный в терминах той эпохи, разработанный до деталей. Трудно допустить, что это — литературная фикция. План так конкретен — он, кстати сказать, полностью себя оправдал, как показали дальнейшие события, — и составлен в такой деловой форме, что мысль эта должна отпасть сама собою.

¹ Под 1141 г., например, — „В то же лето посла Изяслав к сестре своей рече: «Испроси ны у зяте Новгород Великий брату своему Святополку»; она же тако створи“ (стр. 221); под 1170 г. — „В то же время Володимер Андреевич нача припривати волости у Мьстислава. Мьстислав же уразуме, оже изветом у него просит волости, рече: «Брате Володимири! Ця давно еси хрест целовал ко мне и волость взял еси у мене?» Он же разгневался иде Дорогобужу“ (стр. 371; ср. стр. 394); иногда вводятся в запись, как фрагмент, вырванный из контекста: „и поропташа (Ольговичи) на нь (на брата Всеволода), оже любовь иметь с Мьстиславичи, с шюрями своими, «а с нашими ворогы, и осажался ими около, а нам на безголовие и безмьстье и себе»“ (стр. 223—224).

² Д. С. Лихачев. Русские летописи и их культурно-историческое значение. Изд. АН СССР, М. — Л., 1947, стр. 114—131; ср.: Д. С. Лихачев. Русский посольский обычай XI—XIII вв. Истор. зап., № 18 (1946).

В ряде случаев документальна даже интонация тех или иных речей; она так отчетлива и исторически реальна, что не может быть сомнений в ее подлинности. Обида и раздражение звучат в словах, с которыми обратился Всеволод Ольгович к Мстиславичам, когда узнал, что новгородцы отказываются принять к себе его сына Святослава: „Новгорода не березета; ать седять сами о своей силе, кде князе не налезуть“ (стр. 220). Когда посол Изяслава Мстиславича, прибыл в Галич и повел речь, Владимир Галицкий прервал его на полуслове — с явным намерением возможно обиднее оскорбить Изяслава; летописец несомненно точно, со слов самого посла — Петра Бориславича, передал его высокомерный и нетерпеливый окрик: „Вы того до сыти есте молвили; а ныне полези вон, поеди же к своему князю“ (стр. 318). Когда после смерти Изяслава Мстиславича в Киев поспешил приехать Изяслав Давидович, старший Вячеслав, дядя покойного Изяслава, встретил его следующими словами, полными и гнева и скрытой тревоги: „Пошто еси приехал и кто тя позвал? Еди же у свой Чернигов!“ (стр. 323). Тот же Изяслав Давидович, когда собрался идти походом на Ярослава Галицкого и, в ответ на свое приглашение Святославу Ольговичу принять участие в этом походе, получил отказ, переданный ему через посла — Георгия Ивановича, „с яростью“ стал угрожать своему двоюродному брату, — и „ярость“ эта, действительно, отчетливо сквозит в его словах, приведенных летописцем: „Ведомо ти буди, брате, всяко не ворочюся, уже есмь пошел; но се молви, Георгий, брату Святославу: оже ты сам не идеши, ни сына пустиши, аже ми бог дасть успею Галичю, а ты тогда не жалуй на мя, оже ся почнешь поползвати из Чернигова к Новугороду“ (стр. 342).

Самая лаконичность, краткость речей — в духе той суровой, полной феодальных раздоров воинственной эпохи — свидетельствует, с моей точки зрения, о их документальности. Многие из них во всяком случае поистине замечательны по той выразительности, с какой воспроизводят они рядовую княжеско-дружинную фразеологию XII в.: „Курьску изволи ити“ (стр. 218), „пойди, княже, к нам, хочем тебе“ (стр. 230), „не лежи, княже; Глеб ти пришел на тя вборзе“ (стр. 253), „иди в Божьский и пребуди же тамо, доколе я схожу на отца твоего“ (стр. 258), „аче ти мя убити, сыну, на сем месте, а убий, а яз не еду“ (стр. 276), „ты ми еси отець, а се ти Киев, а се волость; которое тебе годно, то возми, а иное мне вдай“ (стр. 278), „не твое веремя, поеди прочь“ (стр. 279), „осе раты!“ (стр. 288), „да ни мне будеть Переяславля, ни тебе Киева“ (стр. 327), „мне отчина Киев, а не тебе“ (стр. 329), „что, княже, стоиши? Поеди из города; нам их не перемочи“ (стр. 372), „брате, а не ищю под тобою ничего же, но ряд наш так есть: оже ся князь извинить, то в волость, а мужь у голову; а Давыд виноват“ (стр. 409) и проч.

Тот факт, что летописец иногда запоминал и точно воспроизводил не только речи, посольские и непосольские, но и отдельные реплики, отдельные слова, сказанные в той или иной обстановке, — не подлежит сомнению; рассказывая под 1151 г. о битве у Лыбеди, летописец упомянул,

что убит был и „дикий половцин“ — Севенча Бонякович, тот самый, „иже бяшеть рекл: «Хоцю сечи в Золотая ворота, якоже и отець мой»“ (стр. 299): здесь это пояснение „иже бяшеть рекл“ — знак, что летописец действительно точно воспроизвел слова этого половчина, в свое время, очевидно, обратившие на себя внимание и повторявшиеся.

Той же документальностью характеризуется и встречающийся в летописных рассказах диалог; он, как правило, так же деловит, конкретен и фактичен, как и речь монологическая. Наиболее обычная для Киевской летописи форма диалога — взаимообмен посольскими речами; диалог ведется не непосредственно, а при помощи посредников — послов. Под 1174 г., например, читаем: „Вниде Ярослав (Изяславич) в Киев и седе на столе деда своего и отца своего. Святослав (Всеволодич) же поча слати к Ярославу с жалобою, река ему: «На чьем еси целовал крест, а помяни первый ряд; рекл бо еси, оже я сяду в Киеве, то я тебе наделю, паки ли ты сядеши в Киеве, то ты мене надели; ныне же ты сел еси, право ли, криво ли, — надели же мене». Он же поча ему молвити: «Чему тебе наша отчина? Тобе си сторона не надобе». Святослав же поча ему молвити: «Я не угрин, ни лях, но одного деда есмы внуци, а колко тебе до него, толко и мне; аще не стоишь в первом ряду, а волен еси»“ (стр. 393). И этот диалог и аналогичные ему в Киевской летописи — прямое отражение практики княжеских взаимоотношений в XII в.; не всегда имея возможность лично договариваться, князья постоянно общались между собою при помощи своих доверенных лиц, порою даже в том случае, когда находились друг от друга на расстоянии двух шагов, — например, Изяслав Мстиславич и Ростислав Юрьевич, как рассказывает об этом летописец под 1149 г.: оба князья находились на одном и том же острове, „противу святому Михаилу у Выдобыча“, но переговоры вели не лично, а при помощи „мужей“ Изяслава (стр. 261—262). Такие официальные посольские речи обычно запоминались и воспроизводились летописцем с большой точностью.

Конечно, нельзя утверждать — положение Д. С. Лихачева в этом пункте нуждается в поправке, — что речи, будь то монолог или диалог, всегда вносились в летопись буквально, слово в слово, не подвергаясь даже легкой переработке летописца. Следы такой переработки иногда проступают весьма отчетливо.

Нередко излюбленная автором формула, не раз у него встречающаяся, по инерции переходит и в прямую речь, т. е. усваивается другому лицу. Так, например, у автора — биографа Изяслава Мстиславича — есть своя излюбленная формула: „и сила животворящего креста“; встречается она у него не раз и по разным поводам (стр. 233, 238, 255, 259, 293, 303, 317, 318); ту же формулу находим у него и в прямой речи: „а с ними како ми бог даст и сила животворящего креста“ (стр. 230), „надеяся бозе и силе животворящего креста“ (стр. 234), „да буди со мною бог и сила животворящего креста“ (стр. 245), „святая богородица и сила животворящего креста приведе ны в здоровьи в Киев“ (стр. 255) и проч.

Нередко одна и та же реплика усваивается летописцем разным лицам. Так, например, киевляне говорят Изяславу Мстиславичу: „не можем на Володимире племя руки възняти“ (стр. 243), но то же самое говорят у него и куряне сыну Изяслава Мстиславу: „на Володимире племя на Гюргевича не можем руки подъяти“ (стр. 250); рассказ об отказе киевлян присоединиться к походу Изяслава на Юрия Долгорукого и рассказ под тем же 1147 г. об отказе курян выступить против Глеба Юрьевича принадлежат одному и тому же автору: отсюда, конечно, и это совпадение. Сюда же, как кажется, должны быть отнесены и случаи, когда прямая речь частично дублирует косвенную: „Всеволод же пришед в Киев разболися, и бысть велми болен... призва к собе кияне и нача молвити: „Аз есмь велми болен, а се вы брат мой Игорь...“ (стр. 229); — или представляет собою краткий пересказ косвенной речи. Примером такого пересказа может служить речь Изяслава Мстиславича к брату Ростиславу под 1148 г., переданная последнему через посла: „Брате! Являю ти, на Олговичи есми ходил к Чернигову и на Олгове поли есми стоял, и много есмь им зла учинил, землю их повоевал есмь, и ту ко мне не възмогоса выйти битися полком; и отуду идохом к Любчю, и ту к нам приехаща, и разииде ны с ними река, и нельзе бы ны ся с ними тою рекою битися полком, и на ту ночь бысть дождь велик и бе на Днепре лед лих, того дея поидохом на ону сторону...“ (стр. 255); речь эта — сокращенный вариант рассказа о походе Изяслава на Чернигов, читающийся несколько выше (стр. 254); из рассказа в нее попали даже отдельные словосочетания, воспроизведенные здесь почти буквально: „и пришед ста на Олгове поли“, „и нельзе бы ему их полком доехати тою рекою“, „и бысть на ту ночь дождь велик велми“. Или — под 1157 г. речь Юрия Долгорукого Владимиру Андреевичу: „Сыну! Яз есмь с твоим отцем, а с своим братом Андреем, хрест целовал на том, яко кто ся наю останеть, то тый будеть обоим детем отець и волость удержати, а потом к тебе хрест целовал есмь имети тя сыном себе и Володимиря ти искати; ныне же, сыну, аче ти есмь Володимиря не добыл, а се ти волость“ (стр. 335); — речь Юрия почти дословно дублирует соответствующий рассказ летописца под тем же годом: „... Гюрги же Володимиря не собе искашеть, но целовал бяшеть хрест к брату своему Андрееви, в животе и еще, яко по животе его волость удержати сынови его, а потом к Володимеру к Андреевичю хрест целова, яко искати ему Володимиря“ (стр. 334).

Речи специально сочиненные, „литературные“ — достояние не рассказа, а повести. Но встречаются они и в летописном рассказе, правда, очень редко. Такова, например, речь, которую летописец, сторонник династии Мстислава, киевлянин, вложил под 1139 г. в уста черниговцам: „Ты надешися бежати в Половце, — будто бы сказали они Всеволоду Ольговичу, — а волость свою погубиши: то к чему ся опять воротишь? Лучше того останися високоумья своего и проси си мира; мы бо ведаем милое сердце Ярополче, яко не радуется кровипролитью, но бога ради възхошеть мира, ть бо съблюдаеть землю Русьскую“ (стр. 216). Этот елейный пане-

гирик Ярополку Владимировичу, конечно, невозможен в устах черниговцев в данной ситуации! Здесь летописец, сторонник Ярополка, речь несомненно сочинил, во второй ее части во всяком случае. Есть материал, на основе которого даже можно установить, как он это сделал; речь эта — своеобразный, местами почти дословный монтаж из его же собственного текста — хвалебных по адресу Ярополка эпитетов и оценок: „и прием рассмотрение в сердци, не изиде на нь (Ольговичей) противу, ни створи кровопролитья“ (стр. 215), „благ сый, милостив нравом, страх божий имея в сердци, якоже и отець его имеяше страх божий, и о всем рассмотрив, не восхоте створити кровопролитья“ (стр. 216).

Документален, наконец, самый язык летописи — ее удивительный словарь, весь насыщенный терминами своего времени, ходячими в феодальной среде XII в. словами и оборотами речи: „выбеже Ярослав Святополчичь из Володимера Угры“ (стр. 205), „пободоста и оскепом“ (стр. 207), „присунушася к Баручю“ (стр. 208), „повеле гнати люди“ (стр. 208), „хотяще и ти на Всеволода про Ярослава“ (стр. 209), „съступи хреста“ (стр. 210), „Ярослава пусти Мюрому“ (стр. 210), „Изяслав же перестряп два дни“ (стр. 210), „товар ублюдоша“ (стр. 211), „Ярополк приведе Всеволода“ (стр. 212), „выведе брат его“ (стр. 212), „заратишася Олговичи“ (стр. 213), „не могоша ся уладити“ (стр. 215), „съзвася с братьею своею“ (стр. 216), „вабаше князя Изяслава“ (стр. 218), „съсылахуться сами межи собою“ (стр. 218), „искали под Ростиславом Смоленска“ (стр. 218), „съдумав с дружиною своею“ (стр. 218), „посла... послы свои с речьми рядитися“ (стр. 219), „испросиша у Всеволода брата“ (стр. 220), „не хотя перепустити Новагорода“ (стр. 220), „чюя товар“ (стр. 221), „они сташа на воли его“ (стр. 223), „поча и водити подле ся“ (стр. 233), „не приложи чести ко Изяславу“ (стр. 234), „исполчишася“ (стр. 235), „поча стеречи волости его“ (стр. 236), „ополонишася дружина“ (стр. 240), „взяшя... град на щит“ (стр. 252), „скупишася на снем“ (стр. 257), „примчаша к нима половщина“ (стр. 265), „пополошишася“ (стр. 266), „перескок“ (стр. 266), „полезоша на кони“ (стр. 269), „король бы не порожен“ (стр. 269), „скупя силу свою“ (стр. 270), „пополох зол“ (стр. 271), „Изяслав съступи Дюргеви Киева“ (стр. 274), „Изяслав бе у мале“ (стр. 279), „праваться через Горину“ (стр. 285), „нетверд ему бе брод“ (стр. 295), „наездити в зад полков“ (стр. 302), „перебегоста Днепр“ (стр. 304), „разведоша Городок Гюргев“ (стр. 308), „нача доспевати“ (стр. 320), „изоимаша... на розгоне“ (стр. 322), „еха изъездом на стрья своего“ (стр. 333), „и пустиша на вороп к городу“ (стр. 334), „вземше под ним волость его и жизнь его всю“ (стр. 339), „без всякого извета еха к ним“ (стр. 340), „и вошла баше засада... в город, и начаша ся бити крепко засадници“ (стр. 341), „поушьявають его к себе“ (стр. 342), „снашивахуться речьми межи собою“ (стр. 343), „и росправив все речи“ (стр. 345), „едушю Олгови ис товар на

поездство“ (стр. 351), „не да ему полку“ (стр. 360), „являя им твердь братья“ (стр. 365), „приеха оправливаются“ (стр. 366), „перемета мост“ (стр. 367), „Глеб бродиться“ (стр. 375), „даяти сайгат“ (стр. 387), „нача Андрей вины покладывати на Ростиславичи“ (стр. 388), „поводяче и на Ростиславиче“ (стр. 389), „въз-острися на рать“ (стр. 390), „въвертешася в не“ (стр. 427), „створи постриги сынови своему“ (стр. 453), „водив и к роте“ (стр. 453), „засекся от Всеволода“ (стр. 468), „сына своего... посла брату своему Рюрикови на руде“ (стр. 472) и т. п.

Некоторые из этих слов и словосочетаний образны, но образность эта не литературного происхождения: она идет непосредственно от речевой практики XII в., от живого языка, обычного в княжеско-дружинной среде и хорошо известного летописцу.

То новое, что характеризует летописный рассказ в сравнении с погодной записью, не опровергает „документальной“ природы его. Имею в виду „автора“, которого в погодной записи еще не заметно, который там еще никак себя не проявляет. Здесь, в рассказе, — и в этом его литературное своеобразие — он уже отчетливо ощущается, он заявляет о себе оценками тех или иных событий, попытками комментировать их, прямой характеристикой действующих лиц повествования, отступлениями в сторону (морально-дидактические сентенции), даже отбором слов, в особенности же своей индивидуальной манерой излагать рассказ. Последнее закономерно; — погодная запись не давала простора в этом отношении уже в силу своего объема, здесь же возможности, разумеется, были иные. Индивидуальная манера излагать рассказ здесь не могла не сказаться так же, как сказывается она в любом устном рассказе очевидца: один рассказывает лучше, другой — хуже, один делает это подробнее, другой — суше и короче. Манера эта определяется в зависимости от памяти рассказчика, от его внимательности, его осведомленности, наконец, просто от его умения рассказывать.

Практика привела к тому, что летописный рассказ с течением времени выработал свои „клише“, свои традиционные формулы. Некоторые из этих формул получили широкое распространение и по наследству переходили от автора к автору: „седе на столе деда своего и отца своего“, „въеха со славою и честью великою“, „с радостью великою“, „бишася крепко“, ¹ „возвратишася восвоеси“, „поможе бог“, „бысть же весть“ и проч. Наблюдение за употреблением этих формул показывает, что часто они употреблялись просто по инерции. Так, например, летописец мог сказать, что взять Киев Мстиславу Андреевичу „поможе бог“ (стр. 372); даже рассказывая о въезде в Киев несимпатичного ему князя-узурпатора, силою захватившего власть и стол, — Всеволода Ольговича, мог заме-

¹ Характерная для „воинских“ повестей более позднего времени развернутая формула боя в летописи Киевской встретилаcь мне только один раз: „и бысть мятежь велик, и стонова, и кличь рамяя, и гласе незнаемии; и ту бе видити лом копийный и звук оружийный, от множества праза не знати нч конника ни пешьць“ (стр. 391—392).

тить, что въехал он туда „с честью и славою великою“ (стр. 217); мог привести ту же формулу даже в том случае, когда она вступает в явное противоречие с его же собственным текстом: киевляне, прощаясь у него с Изяславом Мстиславичем, обещают хранить Изяславу верность („оже нам с Гюргем не ужити“); сообщая же, несколькими строками ниже, о въезде в Киев Юрия Долгорукого, он написал, что встретили киевляне Юрия „с радостью великою“ (стр. 268). Здесь, конечно, не отражение действительности, а простой литературный штамп. Нередко рассказчик пользовался своими, только ему присущими оборотами речи, в его употреблении уже ставшими формулами („многое множество“, „и тако“, „пребыша у велице любви и у велице веселии“, „приложися к дедом своим и отцем своим и отдав общий долг, его же несть убежати всякому роженому“ и т. п.), и это обстоятельство позволяет установить принадлежность ряда рассказов Киевской летописи определенному автору. Вопрос об авторах Киевской летописи мог бы стать предметом специального исследования.

Во многом отступая от погодной записи даже по содержанию, летописный рассказ, однако, как видим, в литературном отношении существенно ничем от нее не отличается: разница здесь не качественная, но чисто количественная. Большой объем повествования, большая подробность изложения, известная связность и непрерывность его, большая по охвату фактов документальность, даже интерес к мелким деталям того или иного события, даже „автор“ — все это само по себе еще не свидетельствует о новом качестве летописного рассказа. Литературная природа его та же: и погодная запись и летописный рассказ объединяются единством одного и того же метода отражения исторической действительности. Думаю, что метод этот — он нуждается в историко-литературном определении — есть все основания назвать р е а л и з м о м. Разумеется, этот реализм нельзя отождествлять с реализмом литературы нового времени. Такое отождествление было бы и антиисторично, и искажало бы действительное положение вещей. О реализме Киевской летописи в привычном для нас понимании этого термина, в смысле метода, характерного для литературы XIX—XX вв., не может быть, конечно, и речи. Реализм летописца — средневекового типа; он стоит еще на той грани, которая едва отделяет литературу от документа; фиксируя во временной последовательности отдельные факты, с протокольной точностью иногда воспроизводя внешнюю канву событий, реализм летописца не обнаруживает признаков творческого переосмысления этих событий, не может возвыситься до каких-либо обобщений, явно предпочитая идти по линии чисто эмпирической регистрации исторических событий, иногда со своими оценками и морально-политическими комментариями.

3

Наряду с рассказами строго фактического и делового характера, Киевская летопись содержит в себе и еще один повествовательный жанр,

который, в отличие от рассказа, буду условно называть повестью. Во многом похожая на рассказ, повесть отличается от рассказа прежде всего тем, что она более или менее последовательно выдержана в рамках определенного литературного стиля, именно агиографического. В повести, как правило, действительность отражается не непосредственно, а предстает перед нами в условных контурах этого условного, абстрактного, антиреалистического по самой своей природе метода, подчиняясь всем его устоявшимся в литературе нормам. И сами события, и человек, и его поведение здесь, в повести, приобретают новые очертания, далекие от привычной нам по рассказам документальности.

Повестей в указанном понимании этого термина в составе Киевской летописи сравнительно немного: одни из них вплетены в цепь летописных рассказов, другие образуют более или менее самостоятельное целое, легко выделяемое из общего потока летописного повествования. Сюда относятся: повесть под 1147 г. об убийстве Игоря Ольговича, под 1168 г. — о кончине Ростислава Мстиславича, под 1175 г. — об убийстве Андрея Боголюбского, под 1178 г. — о кончине Мстислава Ростиславича, под 1197 г. — о кончине Давида Ростиславича.¹ Обращает на себя внимание тот факт, что все повести посвящены одной и той же теме: смерти того или иного князя. Обстоятельство это позволяет установить генезис и этих повестей и самого жанра в целом.

Есть основания полагать, что зерном, из которого повесть, как жанр, выросла и сформировалась, является запись, сообщающая о смерти какого-либо князя. Записей таких в Киевской летописи много, и все они, в рамках погодного известия, составлены по одной схеме: сообщается о том, когда умер князь (точная дата), где, в каком именно монастыре или церкви, он был погребен (стр. 212, 216, 290, 439, 466); очень часто добавляется сюда еще и краткое упоминание о плаче над телом покойного его ближайших родственников или всего народа (стр. 240, 323, 359, 386, 467). В Киевской летописи дошел до нас материал, позволяющий наглядно представить себе, как совершался постепенный переход такого погодного известия в повесть. Начался он с того, что к погодному известию в дополнение к указанным его составным частям стала присоединяться прямая — „от автора“ характеристика покойного князя, как человека и как примерного христианина, иногда с кратким перечислением его заслуг перед „Русской землей“, фактов его деятельности как церковного строителя, даже иногда с кратким описанием его внешнего облика. С присоединением такой характеристики погодная запись о смерти князя отлилась в рассказ особого типа — в некролог; например, Владимира Мономаха (стр. 208), Святослава Ростиславича (стр. 376), Глеба Юрьевича (стр. 384), Святослава Юрьевича (стр. 394), Романа Ростиславича (стр.

¹ По своей внешней структуре во многом напоминают повесть — рассказ под 1187 г. о кончине Ярослава Галицкого и рассказ под 1194 г. о кончине Святослава Всеволодича; однако для повести они не показательны, так как носят слишком документальный характер и агиографической стилизацией только едва окрашены.

417—418), Владимира Глебовича (стр. 439), Всеволода Святославича (стр. 467). Обязательная для каждого некролога прямая характеристика покойного князя и внесла первые элементы агиографической стилизации; о ней выразительно говорят эпитеты, которыми теперь как ореолом начинает окружаться имя князя: „благоверный“, „христолюбивый“, „честный“, „блаженный“, даже „святой“ (Владимир Мономах); в особенности же, подбор христианских добродетелей, которыми здесь, часто без должного чувства меры, стал наделяться покойный князь: „братолюбец“, „нищелюбец“ (Владимир Мономах), „бе украшен всякою добродетелию“, „манастыри набдя и черньце утешивая, и мирьския церкви набдя и попы, и весь святительский чин достоиню честию чтяше“ (Святослав Ростиславич), „братолюбец“, „кроток, благонравен, манастыре любя, чернецький чин чтяше, нищая добре набдяше“ (Глеб Юрьевич), „избранник божий“, „въистину божий угодник“ (Святослав Юрьевич), „смерен, кроток, незлобив, правдив, любовь имеяше ко всем“, „страха божия наполнен, нищая милуя, манастыре набдя“ (Роман Ростиславич) и т. п. Наличие в повести всех элементов некролога (сообщения о том, когда умер князь; где был погребен; сообщения о плаче над телом князя его родственников или всего народа; его прямой „от автора“ характеристики как человека) свидетельствует, что закончился процесс формирования повести как жанра, когда к некрологу начал присоединяться расцвеченный всеми штампами агиографического стиля рассказ о событиях, непосредственно предшествовавших кончине князя, об обстоятельствах его смерти. Рассказ этот в составе повести занял центральное место и, естественно, несколько отодвинул в сторону традиционный некролог, но не вытеснил его; все его составные части остались, нередко чередуясь в том же порядке, что и раньше. Правда, теперь, когда с присоединением к нему рассказа об обстоятельствах смерти князя некролог перерос в повесть, агиографическая тенденция в нем заметно усилилась: сообщение о том, когда скончался и где был похоронен князь, стало приобретать более патетический характер, обрастать подробностями в агиографическом вкусе (когда умер Игорь Ольгович, в церкви святого Михаила над телом его произошло чудо: сами собою зажглись свечи; когда сообщили об этом митрополиту, он поступил так, как всегда в „житиях“ поступают в таких случаях митрополиты или епископы — „повеле потаити такую благодать, богу явльшуся над ним“); в сторону характерной для агиографического стиля „умилительной“ чувствительности стал расширяться и другой элемент некролога — сообщение о заупокойном плаче родственников и народа (когда шествие с телом Андрея Боголюбского подошло ко Владимиру, „люди“ владимирские „не могоша ся нимало удержати, но вси вопяхуть, от слез же не можашу прозрити, и вопль далече не слышати“); — часто стал приводиться и самый плач (см. плач Кузьмища Киянина над телом Андрея Боголюбского; плач новгородцев над телом Мстислава Ростиславича, замечательный и по своему лиризму, и тем, что в нем впервые встречается формула, не раз впоследствии применявшаяся: „... не можемь

тебе узрети, уже бо солнце наше зайде ны и во обиде всим остахом“);¹ обычная в некрологе прямая характеристика покойного князя стала явно перерастать в типичную житийную „похвалу“ со всеми ее аксесуарами (риторические обращения к покойному, экскурсы в его биографию и пр.). Обрамляющая повесть об убийстве Андрея Боголюбского „похвала“ — типичный пример такого перерождения прямой характеристики некролога в агиографический панегирик (стр. 395—397, 403). В начальной своей части панегирик этот еще напоминает некролог обычного типа; автор подробно останавливается на характеристике Андрея как церковного строителя; много и с большим знанием дела говорит, как украсил и „удивил“ Андрей построенные им церкви и в Боголюбовом и во Владимире (здесь сквозь „похвалу“ пробивается неподдельное увлечение автора архитектурными деталями построек Андрея). Эта „документальная“ линия у автора, однако, тут же и обрывается, уступая место „похвале“; автор переходит к подробному перечислению христианских добродетелей князя: „не помрачи ума своего пьянством“, „кормитель бяшеть чернцем и черницам и убогим“, „всякому чину яко възлюбленный отець бяшеть“ и проч., рассказывает, что князь Андрей имел обычай по ночам ходить в церковь: здесь он сам, не прибегая к посторонней помощи, зажигал свечи и в одиночестве молился; рассказывает и о другом обычае князя — ежедневно приказывал он возить по городу „брашно и питье разнoличное“ и раздавать его больным и нищим; никогда ни в чем не отказывал он всякому приходящему к нему с нуждою; подавая милостыню, так всегда говорил сам себе: „Еда се есть Христос пришед испытать мене?“; — утверждает, что князь Андрей, всегда любя „нетлененая паче тленных и небесная паче времененых“, добровольно принял мученический венец, подражая „братома благоумныма святыма страсотерпцема“ (Борису и Глебу). Для характеристики того направления, в каком перестраивался традиционный некролог в составе повести, в особенности показательна заключительная часть „похвалы“ Андрею Боголюбскому: здесь уже налицо все признаки типично агиографического „апофеоза“ — цветистая фразеология (князь Андрей сравнивается со „звездой светоносною помрачаемою“, с солнцем „прекрасным“, лучами своими освещающим всю вселенную — „усток и полдне и запад“); появляются формулы церковного акафиста („Радуешься, Андрею княже великий, дерзновенье имея ко всемогущему...“), — наконец, в финале, даже молитвы к нему („Ты же, страсотерпче, молися ко всемогущему богу о племени своемь и о сродницех, и о земле Руськой, дати мирови мир“, „молися помиловати братью свою, да подасть [бог] и победу на противные, и мирную державу, и царство чество и многолетно“).

¹ „Плач“ — деталь, известная уже и некрологу; см. некролог Романа Ростиславича, где приведен и самый плач вдовы покойного: „Царю мой благый, кроткий, смиренный, правдивый! Воистину тебе наречено имя Роман, всею добродетелею сын подобен ему...“ (стр. 417—418).

Назначение повести заключалось в том, чтобы дать новый агиографически просветленный образ идеального князя, блистающего всеми возможными христианскими, даже специально монашескими добродетелями. Задаче этой, продиктованной данной конкретной политической ситуацией, и была подчинена как повесть в целом, так и все ее составные части; тот факт, что образ этот, навязанный тому или иному князю, подчас вступал в вопиющее противоречие с его же изображением, но в рассказах документального типа, — летописца ни в какой мере не смущал.

Повесть, изображая человека, по возможности стремилась устранить все черты его индивидуального характера: только освобожденный от всего „временного“, всего „частного“ и „случайного“, человек мог стать героем агиографического повествования — обобщенным воплощением добра и зла, „злодейства“ или „святости“. На практике это привело и не могло не привести к тому, что все герои повести стали напоминать один другого — обладать одними и теми же чертами „характера“, в сходных обстоятельствах поступать одинаково, произносить одни и те же слова, даже часто двигаться и жестиковать в одном и том же направлении. Для всех положений у агиографа уже была своя предустановленная схема: нередко она переносилась из повести в повесть без всяких изменений — не потому, что у автора не было в запасе другой, собственного изобретения, а потому, что схема такая ценилась автором сама по себе, как уже найденная и закрепленная для данного положения наиболее совершенная его „норма“;¹ здесь сходство — результат не столько подражания готовым литературным образцам, сколько проявления характерной для всякого агиографа тенденции свести к некоему абстрактному „единству“ все многообразие действительности.

Написанные в агиографическом стиле повести Киевской летописи в этом отношении не представляют собою какого-либо исключения.

Объединенные единством замысла — дать „идеальный“ образ князя-мученика, „страстотерпца“ — повести об убийстве Игоря Ольговича и об убийстве Андрея Боголюбского² составлены по одной и той же схеме; очертания ее проступают достаточно четко. Игорь Ольгович знает (откуда в повести не сказано; очевидно, свыше) о готовящемся на него покушении, но ничего не предпринимает, чтобы предотвратить опасность; он отправляется в церковь монастыря святого Федора и здесь, вздыхая и проливая слезы, ищет утешения в благочестивых размышлениях и молитве. Знает о заговоре против него и Андрей Боголюбский, тоже ничего не

¹ Это же явление на примере ряда метафор древне-русской литературы недавно отмечено В. П. Адрианова-Перетц. Очерки поэтического стиля древней Руси. Изд. АН СССР, М. — Л., 1947, стр. 9 и сл.

² В той своей версии, в какой повесть эта читается в Ипатьевской летописи, она несомненно была составлена в Киеве; только киевлянин мог дать, в начале повести, это пояснение: „Создал же башеть себе город камен, именем Боголюбый, тольдалече якоже Вышегород от Кыева, такоже и Боголюбый от Володимеря (стр. 394—395).

предпринимает, чтобы предотвратить грозящую ему беду; „духом разгоряся божественным“, он утешает себя в ожидании смерти, подобно Игорю Ольговичу, благочестивыми размышлениями о неизбежности принять мученическую кончину для каждого, кто хотел бы, подражая Христу, „положить душу свою за друг свой“. И в той и в другой повести убийцы набрасываются на беззащитного князя, „яко зверье сверепии“, „яко зверье дивии“. Смертельно раненый герой обличает убийц; Игорь Ольгович, обращаясь к ним, восклицает: „О законопреступници, врази, всея правды Христовы отметьници! Почто яко разбойника хотите мя убити?..“; Андрей Боголюбский: — „О горе вам, нечестивии! Что уподобитесь Горясеру (убийце святого Глеба)! Что вы зло учиних?..“ И в той и в другой повести подчеркнуто, что героя убивают в два приема: напав на князя и ранив его, убийцы думают, что князь убит, но затем они убеждаются в своей ошибке; обнаружив, что князь еще жив, они добивают его (Андрею Боголюбскому обстоятельство это дает возможность произнести длинный монолог). Умирая, Игорь Ольгович и Андрей Боголюбский произносят одни и те же слова; Игорь Ольгович: „Владыко, в руде твои предаю тебе дух мой; прими в мир твой душу мою“; Андрей Боголюбский: — „Господи, в руде твои предаю тебе дух мой“.

Источник этой схемы совершенно очевиден: это популярное в XII в. „Сказание“ о Борисе и Глебе. К „Сказанию“ восходят даже некоторые мелкие детали и той и другой повести. Рассказывая о том, как некто Михаил старался защитить Игоря Ольговича, автор повести упомянул, что убийцы, когда стали бить и его, желая оттащить его от Игоря, — „отторгоша хрест на нем и с чепьми, а в нем гривна золота“; не подлежит сомнению, что подробность эту автор повести отметил только потому, что она напомнила ему соответствующий эпизод „Сказания“ о Борисе: „гривну золоту“ носил на шее и тот отрок Георгий, который безуспешно пытался спасти Бориса; „гривна“ эта тоже привлекла внимание убийц; они убили отрока и даже отсекали ему голову, чтобы сорвать с него это ценное украшение.¹ „Сказанием“ о Борисе несомненно навеяна и одна мелкая подробность в повести об Андрее Боголюбском: Андрей, раненый, выбегает из своей опочивальни — „в оторопе“ так же, как и Борис из шатра, когда был ранен убийцами („искочи из шатъра в оторопе“).²

По одной и той же схеме в значительной степени построены и повести о смерти Ростислава Мстиславича и его сыновей — Мстислава и Давида. Объединенные замыслом дать „идеальный“ образ князя-правителя, и жившего и умершего во благочестии, все эти повести, за исключением разве повести о смерти Мстислава, несколько слабее остальных задетой агиографической стилизацией, характеризуются нагнетением деталей, под-

¹ С. Бугославський. Пам'ятки XI—XVIII вв. про князів Бориса та Гліба (Розвідка та тексти). У Києві, 1928, стр. 145—146.

² С. Бугославський, стр. 145.

черкивающих прежде всего редкие христианские добродетели князя; некоторые из этих деталей, очень возможно, и соответствуют исторической действительности.

Ростислав и Давид всю жизнь тяготятся жизнью в миру, мечтают освободиться „от маловремененного и суетного света сего“, задолго до смерти выражают желание постричься в монахи. Ростислав, по утверждению автора повести, не раз беседовал на эту тему с игуменом Печерским Поликарпом и деятельно готовился к пострижению: во время великого поста каждое воскресенье он имел обыкновение причащаться; — „слезами омывая лице свое и въздыханием частым смиряя себе, и стонание от сердца своего испущая“, князь производил столь умиленное впечатление, что все окружающие его, видя такое его смирение и благочестие, „не можаху удержатися от слез“. По разным причинам Ростиславу не удалось осуществить своего намерения — принять иноческий образ, но то, что не удалось ему, удалось его сыну — Давиду; подобно отцу всегда сокрушаясь о грехах своих и всегда мечтая удалиться от мира в обитель, — подалее „от многомятежного и маловременного света сего“, Давид незадолго до смерти постригся в монахи, постриглась в монахини и его княгиня, следуя примеру супруга.

Умирают все герои этих повестей тоже примерно одинаково — так, как того и требовал агиографический „канон“. Давид перед смертью, уже совсем больной, приказал вести себя в монастырь Бориса и Глеба, что на Смядыни; здесь он, „воздев руце на небо“, стал молиться (молитва Давида приводится автором); почувствовав приближение смерти, он снова стал молиться (текст второй молитвы Давида тоже приводится автором); за этой молитвой его, с воздетыми к небу руками, и застигла смерть. Так же примерно умирает и Мстислав, — тоже с воздетыми к небу руками, вздыхая „из глубины сердца“ и проливая слезы. В особенности „умиленно“ умирает Ростислав Мстиславич: автор, видимо, немало поработал над этим, финальным, эпизодом своей повести. Когда Ростислав почувствовал приближение смерти, он позвал духовника и, „воздев руце свои“ и „зря к иконе святой богородици“, начал молиться; молитва Ростислава приводится автором; вся она построена на риторических обращениях одной и той же структуры, ритмично чередующихся: „Пречистая богородице! ... Помощнице обидимым, ненадеющимся надеяние, сиротам заступнице, убогим кормительнице, печальным утешение, грешным спасение, хрестьяном всим поможение, милостива еси госпоже, милостью своею помилуй мя, грешного раба своего Михаила (Михаил — христианское имя Ростислава), ризою мя честною защити...“ Закончив молитву, князь посмотрел на икону „самого творца“ и, „слезы испущая от зеницю“, тихим голосом сказал, цитируя известный евангельский текст: „Ныне отпусти раба своего, владыко, по глаголу твоему с миром“. И видны были слезы, когда он произносил эти последние свои слова, „на скранью его“ (на щеке) — „яко женчужная зерна“. Утирая эти навернувшиеся слезы „убрусцем“, — князь скончался.

Об агнографической трактовке героев летописной повести говорят не только повторяющиеся ситуации, но и случаи дословного совпадения в их литературном оформлении, порожденные все тем же стремлением добиться максимального единства.

Услышав стоны раненого Андрея Боголюбского, убийцы отправляются его искать по следам крови. Князь, когда увидел, что убийцы его ищут — сидел он под сеньями „за столпом въсходным“, — „воздев руце на небо“, стал молиться; под пером автора повести молитва эта развернулась в целый монолог, где благочестивые размышления князя чередуются с обращениями его к богу. Монолог этот дословно совпадает с монологом Игоря Ольговича, который тот произносит в ожидании убийц в церкви монастыря святого Федора; дословно совпадает и описание поведения Андрея и Игоря в этот момент.

Игорь Ольгович: + 1117

... и въздохнув из глубины сердца скрушеном, смиреном смыслом, и прослезився, и помяну вся Ивова и размышляше в сердци своем: „Тако толики страсти и различная смерти на праведники находили суть, и како святии пророци, апостоли с мученики венчашася и по господе крови своя проляша, и како святии священномученици, преподобнии отци многыя напасти и горкыя муки и различныя смерти прияша, искушени быше от дьявола яко злато в горниле, их же молитвами, господи, причти мя избраном твоём стаде с десными мя овцами, и како святии правовернии цари проляша крови своя, стражюше за люди своя, и еще же господь наш Исус Христос искупи мира от прельсти дьявола честною кровью“. И тако глаголя тешашеть ся, и пакы глаголашеть: „Ты, господи, призри на немощь мою и вижь смирение мое и злую печаль и скорбь, одержащую мя ныне, да на тя уповаю стерплю, ты бо, спасе, глагола еси: веруя в мя аще умереть жив будеть в веку; и о всех сих благодарю тя, господи, яко смирил еси душу мою, и сподоби мя прити на свет от темнаго и суетнаго и маловременнаго сего века, и в царствии твоём причастьника яви мя негнелных твоих и несповедимых благ, с всеми праведными, угрозыми тебе, господи; и се ныне аще кровь мою прольють, то мученик буду господе моему“¹ (стр. 247).

Андрей Боголюбский; + 1118

... и въздохнув из глубины сердцея, и прослезися, и помяну вся Ивова и размышляше в сердци своем, и рече: „Господи, аще и во время живота моего мало и полно труда и злых дел, но отпущение ми даруй и сподоби мя, господи, недостойного, прияти конецъ сей, якоже вси святии, тако и толики страсти и различныя смерти на праведники находили суть, како святии пророци и апостоли с мученики венчашася, по господе крови своя проляша, и тако и святии священномученици и преподобнии отци многыя напасти и горкыя муки, различныя смерти прияша, искушени быша от дьявола, яко злато в горниле; их же молитвами, господи, избраном твоём стаде с десными овцами причти мя; како святии правовернии цари проляша крови своя, стражюше за люди своя, и еще же и господь наш Исус Христос искупи мира от прельсти дьявола, честною кровью своею“. И тако глаголя тешашеть ся; покы же глаголаше: „Господи, призри на немощь мою, и вижь смирение мое и злую печаль и скорбь мою, одержащую мя ныне; да уповаю терплю; о всех сих благодарю тя, господи, яко смирил еси душу мою и в царствии твоём причастьника мя створил; и се ныне, господи, аще и кровь мою прольють, а причти мя в ликы святых мученик твоих, господи!“ (стр. 399—400).

¹ Эти последние слова Игоря Ольговича — почти дословная перифраза слов святого Бориса в „Сказании“ о его убийстве: „Да аще пролееть (брат Святополк) кровь мою, то мученик буду господе моему“. См.: С. Бугославский, стр. 141.

Автор повести о смерти Ростислава Мстиславича приводит слова, будто бы сказанные Ростиславом игумену Печерскому Поликарпу; слова эти частично дублируют тот же монолог Игоря Ольговича.

Игорь Ольгович:

... како святии правовернии цари проляша крови своя, стражуще за люди своя... и како святии пророци, апостоли с мученики венчашася и по господе крови своя проляша... (стр. 247).

Ростислав Мстиславич:

... хотел бых поревновати, якоже и вси правовернии цари пострадаша и прияша възмъдие от господа бога свего, якоже и святии мученици кровь свою проляша, уеприяша венца нетленьных... (стр. 363).

Тот же монолог Игоря Ольговича, но в редакции автора повести об убийстве Андрея Боголюбского, почти дословно воспроизводит и первая молитва перед смертью Давида Ростиславича; молитва эта — монтаж, составленный на основе и молитвенных обращений Игоря к богу и его благочестивых размышлений в начале монолога.

Андрей Боголюбский:

Господи! Призри на немощь мою, и вижь смирение мое и злую мою печаль и скорбь мою, одержащую мя ныне, да уповая терпело; о всех сих благодарю тя, господи, яко смирил еси душу мою и в царствии твоєм причастьяника мя створил... како святии пророци и апостоли с мученики венчашася..., различныя смерти прияша, искушени быша от дьявола, яко злато в горниле; их же молитвами, господи, избраном твоєм стаде с десными овцами причти мя... (стр. 399—400).

Давид Ростиславич:

Владыко господи боже мой! Призри на немощь мою, вижь смирение мое, одержащая мя ныне, да тобою уповая терпело; и о всех сих благодарю тя, господи, яко смирил еси душу мою, и во царствии твоєм причастьяника мя створи, молитвами пречистыя твоея матери, пророк, и апостол, и мученик, и всех преподобных святых отець, якоже и те пострадаваше и угодивше тебе, искушени быша от дьявола, яко злато в горниле, их же молитвами, господи, избранному твоему стаду с десными мя овцами причти (стр. 472—473).

Андрей Боголюбский имел обычай ходить один в церковь и там молиться. Тот же обычай имел и Давид Ростиславич: рассказ о поведении и того и другого князя совпадает почти буквально.

Андрей Боголюбский:

... всяк обычай добронравен имешеть: в ночь въходяшеть в церковь и свечи възжигвашеть сам, и видя образ божий на иконах написан, взирая яко на самого творця, и вси святыя написаны на иконах видя, смиряя образ свой, скрушеномъ сердцем, и уздыханье от сердца износя, и слезы от очю испущая, покаянье Давыдово принимая, плачася о гресех своих... (стр. 396).

Давид Ростиславич:

Сам бо сяков обычай имешеть: по вся дни ходя ко церкви святаго архистратига божия Михаила, юже бе сам создал... И видя образ божий и все святыя иконы, смиряя образ свой, скрушеннымъ сердцем и смиренным, уздыхание от сердца вознося и слезами обливая лице свое, взирая яко на самого творца и покаяние Давыда царя принимая, плачася о гресех своих, глаголя... (стр. 471—472).

Летописная повесть о смерти того или иного князя, как видим, уже содержит в себе в потенции все основные элементы так называемого княжеского „жития“: подчеркнута агиографическую трактовку центрального героя, соответствующие экскурсы в его биографию (в повести об убий-

стве Андрея Боголюбского уже налицо попытка дать полное „житие“ князя, начиная с детства: „Сый благоверный и христьялюбивый князь Андрей от млады верьсты Христа возлюбив и пречистую его мать...“), обширные „плачи“, риторическую „похвалу“ герою, иногда даже молитву к нему. Есть все основания думать, что к княжескому „житию“ прямой путь шел именно от летописной повести. Что так оно и было, документально подтверждают даже некоторые материалы, непосредственно связанные с Киевской летописью. Как известно, повесть об убийстве Игоря Ольговича и повесть об убийстве Андрея Боголюбского именно в той редакции, в какой читаются они в составе этой летописи, в свое время были переработаны в „житие“ и даже попали в Пролог.¹

4

Итак, в Киевской летописи, если рассматривать ее с точки зрения ее литературного строя, налицо очевидный разнобой: одни части повествования (погодная запись, рассказ) написаны в плане того еще очень ограниченного в своих возможностях летописного реализма, который не идет дальше „документального“ отражения исторической действительности, другие части повествования (повесть) — в полном плену у агиографического метода, диаметрально противоположного, антиреалистического по своей природе. Однако, сказать только это — значит не отметить самого характерного. Характерное же заключается в том, что разнобой этот нередко имеет место даже в пределах одного и того же повествовательного ряда; факты свидетельствуют, что отдельные формы летописного повествования, рассказ и повесть, далеко не всегда каждая строго следуют своему методу — в едином и цельном потоке летописного повествования принципы его часто нарушаются: в документальный рассказ врывается „агиография“ и, наоборот, в „агиографии“ обнаруживаются элементы документального отражения действительности, отдельные „реалии“, не задетые агиографической нивелировкой.

Формулы и штампы агиографического стиля сплошь и рядом „украшают“ собою летописный рассказ: обычно они легко воспринимаются на его „документальном“ фоне.

Князь, пользующийся симпатией летописца, часто даже в самом деловито-сухом и протокольном рассказе, под пером летописца, приобретает черты, обычно свойственные у него только герою повести: князь этот отправляется в поход — „надеяся на бог“ (стр. 262), „възложи надежу на бог“ (стр. 271), „възревше на божию помочь, и на силу честнаго хреста, и на молитву святей богородици“ (стр. 369); — „благоверный“, „благочестивый“, „благоумный“, „боголюбивый“, он одерживает победу,

¹ Путь этот проложило уже древнейшее княжеское „житие“ Бориса и Глеба. Новейший исследователь „жития“ так намечает историю его создания: погодные записи — летописная повесть о Борисе и Глебе — анонимное „Сказание“ и, наконец, „Чтение“ Нестора. См.: С. Бугославский. стр. IX—XXXII.

вступает на стол, спасается от врагов всегда, как правило, — „пособьем божим и силою честнаго креста“ (стр. 233), „божьем милосердьем“ (стр. 234), „богом и молитвою родитель своих“ (стр. 299), „с божиею помощью“ (стр. 348) и т. п.; — возвращается из удачного похода, всегда „хваля и славя бога“ (стр. 268), „благодаря бога“ (стр. 329), „похваляче бога, и его пречистую мать, и силу животворящего креста“ (стр. 305), „славяще бога, и святую богородицю, и силу честнаго креста, и святая мученика, помогающа на бранех“ (стр. 384) и проч.; — такой князь, предпринимая какое-либо дело или отправляясь в поход, никогда у летописца не забудет предварительно молитвенно поднять глаза к небу или взглянуть на икону „самого бога“ или „святей богородици“ (стр. 231, 233, 238, 420, 421 и др.); узнав, допустим, о вероломстве союзника или о смерти родственника, — прослезиться и даже воздеть руки к небу (стр. 234, 250, 336 и др.).

Князь или боярин, вызывающий негодование летописца своими поступками, в свою очередь нередко приобретает у него черты, свойственные только „злодею“ повести. Начинается тогда рассказ летописца обычно с упоминания о дьяволе — главном виновнике преступления: „не хотяй любви между братьею“, „не хотяй добра межи братьею“, „не хотяй добра всякому хрестьяну и любви межи братьею“, он, дьявол, „всекозненный“, „пронырливый“, „искони же вселукавый“, начинает с того, что вкладывает в сердце князя или боярина злой помысл; подстрекаемый дьявольским „научением“, такой князь или боярин — „начальник всему злу“ — вместе со своими соучастниками совещається, как лучше привести в исполнение свой адский план, затем начинает „льстити“ под добрым князем и, в конце-концов, замысл свой осуществляет; часто злодей, совершив одно преступление, затем „на горшее зло“ подвизается, чтобы до конца утолить „злобу“ свою (стр. 231, 234, 236, 349, 370 и др.);¹ характеризуя такого злодея, летописец, разумеется, не скупится на бранные эпитеты, нагромождая их по принципу, хорошо известному каждому агиографу; например, под 1172 г. в рассказе о епископе Феодоре („Феодоръце“): „... изъгна бог и святая богородица Володимирская злаго и пронырливаго и гордаго лестьця, лживаго владыку Федоръца из Володимирия... сьи нечъстивыи не въсхоте послушати христорлюбиваго князя Андрея...“ (стр. 377).²

¹ Ср. в „Сказании“ о Борисе и Глебе: „Видев же диявол и искони ненавидяй добра человека, яко всю надежу свою на господа положил есть святыи Борис, начат подвизней бывати, и обрет, яко же преже Каина на братоубийство горяща. Тако же и Святополка, по истине вѣтораго Каина, улови мыслью, яко да избьет вся наследники отца своего... и не до сего остави убийства оканьный Святопѣлк, нъ и на большая, неистовая, начат простратися... нъ ту абие вьиде в сердце его сотона и начат и пострекати вьщъша и горьша съдеяти...“ (См: С. Бугославський, стр. 142, 146).

² Ср. там же: „Тогда призва к себе оканьный тръклятый Святопѣлк съ вѣтъники всему злу и начальники всей неправде и отъвръз прескърьная уста, испусти зълый глас...“ (С. Бугославський, стр. 142).

Все это в летописном рассказе не более, конечно, как легкая агиографическая ретушь, литературная оправа, за которой, возможно, иногда таятся и „штампы“ самой жизни. Но бывают случаи, когда дело не ограничивается одной ретушью такого типа, — когда из рассказа выпадают целые эпизоды, переключая его полностью в агиографический план изображения.

Типичен в этом отношении уже читающийся в начале Киевской летописи рассказ под 1126 г. о победе Ярополка Владимировича над половцами. Материалом для рассказа послужило следующее событие: когда половцы узнали о смерти Владимира Мономаха, они осмелели; — подошли к Баручу, но, получив известие, что Ярополк в Переяславле и готовится к походу против них, вернулись на Посулье; Ярополк, не ожидая помощи от брата Мстислава, с одними переяславцами нагнал их и, хотя перевес был не на его стороне, нанес им тяжелое поражение. В начальной своей части рассказ этот — типичный документальный рассказ, каких много в Киевской летописи, но в конце — „документ“ явно начинает уступать место „литературе“: „... Тогда же благоверного князя корень и благоверная отрасль, Ярополк призва имя божие и отца своего, с дружиною своею дързну. И сразившемся полкома, побезени бывше погании, силою честнаго креста и святым Михаилом, часть их избиша, а часть их истопе в реке; и поможе ему бог и отца его молитва, и прославиша бога вси людие о таком даре и помощи“ (стр. 209). Агиографическая стилизация сказалась здесь во всем: и в эпитетах Ярополка, полных праздничной торжественности, и в типичной для повести патетической фразеологии и, наконец, в трактовке всего события как чуда, как знака особого попечительства божьего о Ярополке.

Пример не менее показательный — рассказ под 1149 г. о походе Юрия Долгорукого с братом Вячеславом и сыновьями на Луцк, где сидел Владимир Мстиславич; один эпизод этого пространного рассказа — о доблести Андрея Юрьевича (Боголюбского) — тоже переключается, как и рассказ о победе Ярополка над половцами, из „документа“ в типичное агиографическое „чудо“: „...пособием божием и; силою хрестьною и молитвою деда своего, въеха (Андрей) переже всих в противныя, и дружина его по нем ехаша... един же от немчичь видев и хоте просунути рогатиною, но бог сблуде и; многажды бо бог уметаеть в напасть любящая его, но милостью своею избавляеть. Князь же Андрей помысли себе в сердци, рече: „Се ми хоцеть быти Ярослава смерть Изяславича“ („Изяслава смерть Ярослава“?); и „помолися богу, и вынзе мечь свой и призва на помочь себе святаго мученика Федора, и по вере его избави бог и святой Феодор без вреда...“ (стр. 272).

Очень интересен в этой связи и другой эпизод того же рассказа под 1149 г.: когда война Юрия Долгорукого против Изяслава Мстиславича затянулась и встал вопрос о заключении мира с Изяславом и его

братом Владимиром, одним из первых заговорил об этом Вячеслав Владимирович, брат Юрия и его союзник в этой войне, — заговорил, руководствуясь, по утверждению летописца, чисто христианскими побуждениями, далекими от каких-либо прозаических расчетов; — „бъшеть бо князь Вячеслав незлобив сердцем, хваля преславного бога, поминая Писание: аще имеете веру яко зерно синапъно, речете горе сей: преиди, — преидеть; и пакы помянув слово глаголюще: бога люблю, а брата ненавидя, ложь еси; аще бога любиши, люби брата“ (стр. 274). Однако строкою ниже сам же Вячеслав „разоблачает“ себя, открывая истинную причину своего миролюбия: летописец припоминает его слова, сказанные брату Юрию по этому поводу: „Брате, мирися; хочеши ли не уладивъся поити прочь, то ты ся прочь, а Изяслав мою волость пожъ жеть“; Вячеслав в то время сидел на Погорине, и неудивительно, что его перепугал план Юрия уйти из Волыни, не заключив мира с Изяславом. Здесь перед нами случай, когда разноречивый в способе описывать одно и то же событие приводит к явной несогласованности, к противоречию.

Наблюдая за тем, когда летописец прибегал к агиографической ретуши или даже к переключению отдельных эпизодов своего повествования в агиографический план, нетрудно заметить, что обычно делал это он только в том случае, когда хотел подчеркнуть свою симпатию или антипатию к тому или иному князю. Агиографические формулы и штампы для летописца прежде всего — способ обнаружить свое отношение к тому или иному историческому деятелю или событию; — отнюдь не простое „украшение“, не дань литературной традиции, заведенному литературному „этикету“. Наличие такой формулы или штампа в рассказе позволяет безошибочно судить о политических пристрастиях летописца, о его политической ориентации. Агиографический стиль в руках летописца и стоявших за его спиной княжеских группировок не раз служил мощным оружием политической борьбы, — тем более мощным, что летописец с его помощью свою оценку поведения того или иного князя или события переводил в морально-религиозную плоскость. В этой связи в особенности показательны случаи, когда летописец к агиографическим формулам и „клише“ прибегал в целях откровенной реабилитации того или иного князя.

В 1136 г. имело место следующее событие: желая отобрать у Ярополка Владимировича свою „отчину“ — Посемье, Всеволод Ольгович неожиданно подошел с большим войском и половцами под самый Киев; в испуге Ярополк поспешил удовлетворить все его требования; решение Ярополка и удивило и возмутило его союзников, не ожидавших от киевского князя столь поспешной капитуляции. Излагая это событие, летописец, однако, — сторонник Ярополка и его апологет — в рассказе своем изобразил дело совсем иначе: в его трактовке капитуляция Ярополка — подвиг христианского смирения и кротости, а сам Ярополк — высокий образец „благоумного“ князя-миротворца: „...и прием рассмотрение в сердци, не изиде на нь (Всеволода Ольговича) противу, ни створи

кровопролиться, но убоявся суда божия, створися мний в них (т. е. в Ольговичах), хулу и укор прия на ся от братье своя и от всех, по рекшему: любите враги ваша“ (стр. 215).¹ Аналогичный случай — один эпизод в известном рассказе под 1185 г. о походе Игоря Святославича на половцев, где Игорь, после взятия его в плен, предстает перед нами в образе „идеального“ князя, умирительно сокрушающегося о грехах своих. Имею в виду тот эпизод рассказа, где Игорь произносит длинный монолог, по структуре своей напоминающий те „плачи“ и „молитвы“, которыми время от времени обычно утешают себя герои повести: Игорь здесь подробно перечисляет (согласно с историческими фактами) все преступления, совершенные им в жизни, чистосердечно раскаивается, выражает желание даже принять „мучения“ венец, обращается к богу с молитвой простить все его тяжкие прегрешения и не отринуть его совсем „до конца“. Монолог Игоря построен по всем правилам агиографической риторики, в данном случае рассчитанной на полную реабилитацию этого князя, столь опрометчиво отворившего ворота половцам „на Русьскую землю“; одна риторическая фигура сменяет другую, ритмично чередуются предложения одной и той же синтаксической конструкции: „...Где ныне возлюбленный мой брат! Где ныне брата моего сын! Где чадо рожения моего! Где бояре думающеи! Где мужи храбрьствующеи! Где ряд польчный! Где кони и оружья многоценьная!“ (стр. 434). Речь Игоря тем отчетливее выделяется на фоне рассказа, что после нее рассказ продолжается в том же суховато-деловом тоне, как и раньше — до этой речи: „...розведени быша, и пойде каждо во своя вежа. Игоря же бяхуть яли Тарголове, мужь именовь Чилбук, а Всеволода брата его ял Роман Кзичь, а Святослава Олговича Елдечюк в Вобурчевичех...“ (стр. 434).

В свою очередь, элементы документальности, не только по содержанию, но и по изложению, не менее отчетливо обнаруживают себя в летописной повести, пробиваясь сквозь стиль. Они налицо даже в повестях, где исторические события подверглись в особенности сильной агиографической переработке, — например, в повести о смерти Ростислава Мстиславича, об убийстве Игоря Ольговича, об убийстве Андрея Боголюбского.

Несомненно исторически документален рассказ летописца о болезни Ростислава Мстиславича: возвращаясь в Киев из поездки в Новгород — он поехал туда, чтобы уладить конфликт сына Святослава с новгородцами, — Ростислав, по пути в Новгород, тяжело заболел; в Смоленске, где он остановился, возвращаясь назад, сестра его Рогнедь, видя „велими изнамагающа брата“, стала его просить переждать болезнь в Смоленске — „в своем ему зданьи“, но князь не согласился: велел вести

¹ Под 1140 г. летописец так же интерпретирует вынужденный отъезд Вячеслава Владимировича из Киева: „...противу не изиде (Всеволода Ольговича), не хотя крове проляти, но створися мний“ (стр. 217).

себя в Киев. Излагая этот эпизод, автор повести о смерти Ростислава здесь, в отличие от других эпизодов той же повести, даже не пользуется агиографической фразеологией: рассказ точен, конкретен, как и все летописные рассказы.

Нет оснований сомневаться в достоверности и ряда эпизодов повести об убийстве Игоря Ольговича, судя по содержанию и способу изложения; имею в виду сцену веча на княжем дворе, где киевляне, разгоряченные рассказом Изяславова посла о „льсти“ черниговских князей, неожиданно принимают решение убить Игоря; слова, с которыми обращается схваченный убийцами Игорь к подъехавшему к монастырю святого Феодора Владимиру Мстиславичу: „Ох, брате, камо мя ведуть?“, — слова, вопреки логике предшествующего изложения, проникнутые тоскою и страхом (стр. 248); сцену убийства Игоря со всеми ее натуралистическими подробностями.

В повести об убийстве Андрея Боголюбского документальные эпизоды периодически нарушают агиографический строй повествования; напомним известную сцену убийства Андрея: когда наступила ночь, заговорщики направились к опочивальне князя, но здесь их объял „страх и трепет“; тогда они пошли в „медушу“ и стали пить вино, и только после этого снова подошли к дверям спальни князя; один из них, чтобы обмануть бдительность князя, стал звать, стоя у дверей: „Господине, господине!“ — „Кто есть?“ — спросил Андрей. „Прокопы“, — ответил тот. Князь усумнился. Поняв это, заговорщики стали бить в дверь и выломали ее. Все это несомненно записано со слов очевидца событий 1175 г., и доля „документальной“ правды в рассказе есть, как есть она и в последующем рассказе о том, как заговорщики, услышав стоны князя (в повести сказано: „начат ригати и глаголати в болезни сердца“), поняли, что он еще жив, и пошли его искать, засветив свечи. Последующие за убийством князя события в изложении автора производят впечатление в ряде случаев типичного летописного рассказа; — например, сцена ночного грабежа княжеского имения, диалог Кузьмища Киянина с ключником Амбалом, рассказ о том, как пьяные заговорщики не разрешили Кузьме поставить тело убитого князя в церкви („божнице“), как два дня и две ночи тело князя лежало на паперти, пока не пришел игумен Козьмодемьянского монастыря Арсений и не настоял, чтобы тело князя перенесли в церковь, рассказ о народном восстании в Боголюбове, о решении владимирцев перенести тело князя из Боголюбова во Владимир и там похоронить его, о траурном шествии из Боголюбова во Владимир.

Элементы „документального“ отражения действительности нередко в повести вступали в прямое противоречие с агиографическим строем ее изложения. В особенности интересны в этой связи два эпизода — один в повести о смерти Ростислава, другой — в повести об убийстве Андрея Боголюбского.

Ростислав ежедневно („по вся дни“), по утверждению автора, напоминал Печерскому игумену Поликарпу о своем желании непременно по-

стричься в монахи, освободиться возможно скорее от „мимотекущего и многомятежного житья сего“. Когда как-то Поликарп заметил ему, что князья могут спастись и в миру, необязательно в монастыре, если будут жить добродетельно, Ростислав в ответ произнес целую речь: „Отце! Княжение и мир не может без греха быти...“; — сослался на многих „правoverных царей“, которые „пострадаша“ и за это получили возмездье от бога, даже на императора Константина, не раз выражавшего желание променять венец и порфиру на иноческий клобук. Доводы Ростислава в конце-концов убедили Поликарпа: „Аще сего желаеши, княже, да воля божия да будет“. Ростислав, однако, именно в тот момент, когда Поликарп дал согласие совершить обряд, — от пострижения отказался: „Пережду и еще мало время: суть ми орудьница“ (стр. 363—364). Здесь, этой короткой репликой, автор повести нанес непоправимую брешь своему агиографически преображенному образу Ростислава.

Тот же случай и в повести об Андрее Боголюбском — в сцене нападения на него заговорщиков. Вопреки ожиданиям читателя, вопреки логике предшествующего изложения, вопреки давно узаконенной агиографической схеме, Андрей, когда в его „ложницу“ ворвались убийцы, — стал сопротивляться: он прежде всего схватился за меч, но меча на месте не оказалось, — „бе бо том дни вынял и Амбал ключник его“; двое из убийц набросились на князя, — князь стал яростно защищаться и одного из них подмял под себя; второй, не видя в темноте и думая, что упал князь, ранил своего товарища; когда ошибка выяснилась, все бросились на Андрея и стали наносить ему раны мечами, саблями и копьями до тех пор, пока князь не упал, обливаясь кровью.

Здесь, в летописной повести, это чередование „документа“ и „литературы“ на одной и той же плоскости повествования, под пером нередко одного и того же автора (оно хорошо знакомо, кстати сказать, и древнерусской миниатюре, как это недавно показал А. В. Арциховский, обнаруживший в иллюстрациях Радзивиловского летописного сборника конца XV в. многочисленные следы документально точных зарисовок предметов старинного вооружения и орудий труда, даже ряда бытовых сцен),¹ — чередование это в историко-литературном аспекте интересно прежде всего тем, что дает нам некоторый дополнительный материал для характеристики качественного своеобразия средневекового реализма. Находясь еще в скованном, в связанном виде, в стадии „документального“ отражения действительности, чисто эмпирической фиксации отдельных фактов, средневековый реализм становился в литературе не только рядом с отражениями в ней устно-эпических форм выражения, но он наталкивался и на сопротивление чрезвычайно сильных в ней в эпоху феодализма систем художественного отражения действительности — антиреалистических по своей природе; не имея еще возможности в силу своей ограни-

¹ А. В. Арциховский. Древне-русские миниатюры как исторический источник. Изд. МГУ, 1944.

ченности заменить собою эти системы, он становился рядом и с ними. Значение этого факта трудно переоценить: прорываясь на том или ином участке, он постепенно расшатывал эти системы в литературе так же, как в живописи отдельные „реалии“ подрывали, расшатывали традиционное для средневековья антиреалистическое понимание формы и пространства.

Киевская летопись свидетельствует, что в литературе процесс этот уже начался очень рано — в XII в. во всяком случае; длительный и трудный, он закончился, когда завершился средневековый период развития нашей литературы.
